

ИЗ КНИГИ «ТОРНА СОРЪЕНТО»

*спаси меня не знаю почему
и невозможно выдумать причину
зачем спасать идущего во тьму
когда ему светло невыносимо*
А. Павловская

Среди больной вспухающей зимы,
под лампой электрической бессонной
очнешься, пробужденье опаленный, –
стреноженный – и нервы сожжены.
Прислушайся, в опустошенном мире
младенец плачет, кашляет старик,
и кто-то так же ходит по квартире
явлениям и вещам равновелик.

Он так как ты опаздывал и рвался,
кружились шестерни в его глазах,
но вот он выпал и один остался,
и ходит бледный в клетчатых трусах.
Он кофе пьет и курит злой табак, –
хотя весь мир ему кричит с укором:
ничтожество, бессмысленный дурак! –
и он согласен с этим приговором.

Он снова в первый раз увидел сны,
он знает остров, где зарыты клады,

он – первооткрыватель тишины,
Колумб молчанья, жизни соглядатай.
Он как Рембо на пьяном корабле
лавирует среди зубчатых рифов,
к нему приходят Гоголь и Рабле,
ему Гомер рассказывает мифы.

И вот он тоже подымает щит
и меч короткий достает из ножен,
и пыльной бурей Аполлон летит
и Афродита лезет вон из кожи...

памяти А.И. Кобенкова

Прекрасны ссоры, ревность, пересуды,
прекрасно невезенье и долги –
все это жизнь была и ниоткуда
сокровища сыпала в сундуки.

Меня из рук изменами кормили,
мои разлуки можно сдать в музей;
предательства любимых и друзей –
благословенны, потому что были
все эти люди радостью моей.

Крапива, обжигающая ноги,
мешающие дреме комары,
дождь, холод, непролазные дороги,
кошмары, одиночество, подлоги –
поистине бесценные дары.

Мне кажется, что в жизни нет изъяна
и нечего прибавить от себя, –
так повторяю, всхлипывая, пьяная,
с поминок уходя.

Вот так и доходят до ручки,
и я опустилась почти,

бездельница я, белоручка –
работы в Москве не найти.
Скитаюсь по улицам пыльным,
читаю «Записки жильца»,
везет деловитым и сильным,
румяным на четверть лица.
О что за субтильная бледность?
О что за мечтательный взор?
Я верила в честную бедность,
я думала – деньги позор,
я мыслила – правильно, дескать,
самой оставаться собой.
Во всем виноват Достоевский,
и даже, отчасти, Толстой.
Слепая! и то еще будет,
когда со страниц семеня,
богатые бедные люди
ногами затопчут меня.

О чем здесь речь? О шарфе, коньяке,
о песенке, как булочка, съедобной,
о комнате, о каждом уголке,
о запахе, о том что жизнь подробна.
Здесь кто-то жил, и в ящике трюмо,
припрятанное прочно под газету,
забыто драгоценное письмо
с мучительным усилием ответа.
Как часто вещи источают свет,
бьют молнии от них, гремят раскаты.
Должно быть, так мерцал во тьме конверт,
что не давал покоя адресату.
Притягивал, кричал до хрипоты,
светился непогашенным экраном.
О чем здесь речь? о чем не помнишь ты?
О чем ты будешь помнить постоянно?

Вокруг темно, но выделены мы
таинственным свечением из тьмы.
Все лишнее заботливо прикрыто,
все убрано, рыдайте пиэриды, –
здесь жизнь была – черна, необратима,
а вышла песня, амфора, картина.
Зеленый грот Сильвестра Щедрина,
терраса, сплошь заляпанная светом,
в проталинах полуденного сна
и виноградом в воздухе прогретом.

«Достоевский-интертеймент» представляет:
человека человеку убивает,
и не Божия суда боится даже,
а того чтоб не попасться в сбыте кражи.
Убивает человека человеку,
например, как Капулетти бил Монтекку,
и цепляется убийство за убийство –
монтеккьячество идет за капулийством.
Каин – Авеля, но это всем известно,
убивает жениха его невеста
за богатство, а жених ее за блядство,
убивает мальчик отчима в аббатстве,
убивает леди Макбет ради трона,
Гильденстерн и Розенкранц убьют за крону,
а нахохленный писака и дурак
убивает ни за что и просто так.

«Достоевский-интертеймент» представляет:
в человеке человека умирает.
В человеке, упакованной во фраке,
проступает зверь и хаос в древнем мраке,
выпирает – наподобие клеща –
динозавр челюстями скрежеща.
Это может быть и есть сверхчеловек –
ящер, выползающий на брег.

Это, вероятно, рай и есть –
океан двухклеточных существ.

Все ломается, рушится, рвется и тает.
Я к холодной бутылке тайком припадаю
за ответом на главный вопрос –
неужели все это всерьез?
Хорошо, что еще Ходасевич не умер,
жив Толстой, Пастернак, Батюшков не безумен.
В некоей сфере, увитой плющом,
все мы живы, мы живы еще.
До истории, до истерии абсента,
до легенды еще, потому что легенда –
ядовитая примесь в крови.
Мы в раю. Мы в саду. Мы в пустынном квартале.
Справа залиты сумрачным светом любви,
слева – розовым светом печали.

Л.В.Костюкову

Эта мука и есть превосходство?
Превосходство? кого же над кем?
Эта каторга, это сиротство –
каста? допуск в особый тотем?
Кто меня обязал непрерывно
проворачивать строчки, ключи
подбирать, из судьбы терпеливо
животворные нити сучить?
Кто мне скажет, зачем это бродит,
как болезнь, воспаляясь нутром?
Это что? Из чего происходит?
и куда исчезает потом?

Никогда и нигде не свободна,
навсегда под надзором Господним,
в лихорадке от мизерных драм.
Ну так вот – эта боль превосходна.
Я ее никому не отдам.

спаси меня иначе я умру
беспомощно однажды по утрам
от страха одиночества и боли
от никотина или алкоголя
я растворяюсь я почти никто
бесплотней снов черней галлюцинаций
едва держусь как пуговка пальто
готовая упасть и потеряться
спаси меня не знаю почему
и невозможно выдумать причину
зачем спасать идущего во тьму
когда ему светло невыносимо

Дневниковые заметки:
эта – то, а этот – сё.
Всем поставлю по отметке,
отомщу за все.

Что тут думать: гады, гады,
счастью – мрачны, горю – рады,
рады, гады, пожалеть,
надо сгинуть, умереть,
чтоб они сказали: «Аня,
любим, ждем, останься с нами».

...Предавали, убивали,
сплетничали... или нет?
Или в губы целовали,
или за руки держали,
не пускали на тот свет?

Как от тяжелого сна пробуждение –
март.
То, что живешь – это блажь, совпадение,
фарт.

Тропы утоптаны, птицы раскиданы
кляксами с разных сторон.

Что ты стоишь со своими обидами
в черной метели ворон?

Ладно, иди уже дальше, красавица,
слезы стирая платком,
если весна тебя и не касается,
может, коснется потом.

Знаешь, бывает привяжется песенка:
глупый мотивчик простой.

Разве слова у нее интересные?

Голос не ахти-какой.

А не отвяжется, крепко приклеится,
будешь ходить-повторять.

Надо развеяться, надо надеяться,
надо платок потерять.

Играет труба в переходе
торжественно-праздный куплет.

Я верила этой мелодии
неполных четырнадцать лет.

Я думала, въеду однажды
в столицу на белом коне –
народы как в пестром коллаже
приклеятся взором ко мне.

Мне будут дарить комплименты,
цветы дорогие дарить,
я стану гостить по Сорренто,
с Мартыновым шутки шутить.

Я стану метаться в Берлине,
растить в Переделкине фрукт...

Сплошным хороводом Феллини
за мною народы пойдут.

Но вот и мелодии нету
и надо бы бросить пятак,
за то что неправда все это
и сбудется вовсе не так.

...Русский лес – в смысле Данта:
поэтов-самоубийц.

Смерть – девочка на пуантах,
отточенный взмах ресниц,
десятая муза, фея
с эльфийским разрезом глаз,
лети на ладонь Орфея,
струи голубой атлас.

Учи его, чаровница,
своим бесподобным па,
черти на его деснице
отчетливое «судьба».

Он тоже считай не глупый,
чай, видит тебя насквозь
да только целует в губы
и думает, обошлось.